



виктор шендерович

КИНОТЕАТР
ПОВТОРНОГО
ФИЛЬМА

Виктор Шендерович

Кинотеатр повторного фильма

Шендерович В. А.

Кинотеатр повторного фильма / В. А. Шендерович —
«WebKniga»,

В эту книжку вошли ранние рассказы и повесть Виктора Шендеровича – довольно неожиданные для тех, кто знает это имя только по теле- и радиопрограммам. Будущий сатирик и публицист начинал как автор «традиционной» прозы, по разным причинам практически не публиковавшейся ранее. Так что в каком-то смысле эта книга – дебют.

Содержание

Предисловие	5
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ	7
КРЫСА	13
Конец ознакомительного фрагмента.	15

В. Шендерович

Кинотеатр повторного фильма

Предисловие

Где-то в середине восьмидесятых моя приятельница, проходившая практику в журнале «Дружба народов», попросила меня почитать рукопись некоего молодого автора, который безуспешно пытается пробить броню московских редакций. Вот и в «Дружбу» его принесло, да, впрочем, так и отнесло... А жаль – «симпатичный мальчик из хорошей семьи». Я согласилась, по излишней своей мягкости, и в баре ЦДЛ мне была передана тощая папка. Прямо там, за столиком, я ее открыла, чтобы пробежать глазами первые два-три абзаца и закрыть тему – обычно так, по занятости, я решала вопрос со всеми симпатичными мальчиками и девочками. Я начала читать и... И застряла. Это был рассказ про то, как военнослужащие советской армии от скуки живьем сожгли крысу. Рассказ был замечательным, отстраненным, безнадежным, совершенно непроходным. Прочитав его, хотелось выть. Вообще, после прочтения оставался ожог где-то в области солнечного сплетения.

Я унесла папку домой. Перечитала «Крысу». Прочитала остальные несколько рассказов, повесть «Тайм-аут». У этого симпатичного мальчика из хорошей семьи было своеобразное, несоветское чувство юмора, того сорта, когда, отсмеявшись, хочется повеситься. Эти рассказы будоражили совесть – тот странный орган, который никому из докторов еще не удалось пальпировать.

Мне все это было очень близко.

Так мы познакомились с Виктором Шендеровичем.

В то время он жил, по-видимому, очень стесненно, даже скудно. Помню, как в столовой издательства «Советский писатель» – а мы и туда забрели в моих безуспешных попытках пристроить эту рукопись – он взял один лишь компот за 4 копейки, и стакан на подносе в высоком одиночестве подплывал к кассе...

Не знаю, чем он тогда подрабатывал. Рассказы его опубликовать так и не удалось.

...Прошло двадцать лет, как пишут в романах. За это время много чего случилось – кончилась советская власть, я эмигрировала и живу в Иерусалиме, Шендерович стал знаменит, но вовсе не своей прозой.

Вроде пора уже издать эту книгу.

Перед тем, как написать эти несколько фраз, я перечитала рукопись. Ощущения, черт возьми, остались все теми же: настоящая проза, лаконичная исчерпывающая фраза, точные диалоги, юмор, почти незаметно вживленный в ткань, и в конце – отзвук глубокой печали. Что же это? Выходит, дело-то было вовсе не в советской идеологии, не в том, востребованы или не востребованы были ею эти рассказы и повести. А в том, что по-прежнему испытываешь бессилие и страх перед тупой машиной государственного насилия, в том, что человек беспомощен и мал, в том, что он теплый, живой, боится боли и унижений и хочет счастья. А когда это счастье рядом, он не замечает его, не ценит, и лишь оглянувшись назад, слабо различает милые лица и пытается расслышать родные голоса...

Удивительно вот что: те поистине гомеопатические дозы смешного, которые допускает известный сатирик Шендерович на страницы своей прозы. По себе знаю – для этого требуется изрядное мужество. Это все равно, что знаменитому тенору взяться за исполнение баритональной партии. Трудно не потому, что не потянешь диапазона, а потому, что слушатели ждут от тебя присуших тебе фиоритур.

В этом смысле издание книги такой прозы – поступок.

Дина Рубина

В ЧУЖОМ ГОРОДЕ

Название города ничего не нашептало мне, не кольнуло памяти – ни в филармонической бухгалтерии, где ждал я своих командировочных, ни в вечернем цейтноте вокзала; и когда имя города маячило потом на занавесках фирменного поезда, ничего не дернуло неубитого нерва, ничто не помешало пить чай и жевать вываренное до песочной сухости яйцо.

Спустя сутки я открыл глаза в гостиничном номере и долго лежал в темноте с пересохшим ртом, слушая буханье сердца. Сердце выстукивало имя города. Сна не было.

Я нащупал тапки. Я поплелся в ванную; еще щурясь, прополоскал рот и умылся. Тараканы в панике разбежались от моих ног. На батарее сохли носки. Имя города колотилось изнутри в грудную клетку.

Я зажег в номере свет, сунул в налитую чашку кипятильник и стал ждать, тихонько повторяя за сердцем его одностопный ямб. Я ждал, как ждет рыболов, – имя города извивалось на крючке – и уже знал, что вытащу из памяти какую-то чудовищную рептилию. Когда вода в чашке забурилась, тамтам сердца, стукнув, соскочил на двупалый хорей ненавистной фамилии, тлевшей во мне все эти годы.

Кипяток с минуту плескал через край, прежде чем я выдернул наконец вилку из розетки. Он был моим хозяином.

Год – от осени до осени – я принадлежал, как вещь, этому коротышке с нечистой кожей и гниловатыми зубами. Он держал в руках мою жизнь и мог делать с ней все, что ни пожелал бы, кроме одного: он не имел права ее уничтожить. Я не подлежал выкупу в этом ломбарде, но имел некую залоговую стоимость – не больше, впрочем, стоимости швейной машинки. Если бы я издох у его сапог, меня бы просто списали, как списывали других, переслав домой в цинковом ящике.

Претензии дирекцией этого ломбарда не принимались.

Год – от осени до осени – он был моим хозяином, гнилозубый старший сержант, уроженец этого города.

Я разодрал пачку чая и сыпанул из нее в кипяток. Заварка рассыпалась; рука, державшая пачку, не слушалась. Не слушалось и сердце, колотившееся так, словно пыталось удрать отсюда вместе со всеми потрохами.

Я вытер о сиденье стула влажные ладони и аккуратно, стараясь успокоиться, растворил в чашке три куска сахара. Снимать заварочную горку не стал – чифирь так чифирь, тем лучше.

– Солдат, ты чем-то недоволен?

Пухлый червяк пальца подлезает под верхнюю пуговицу моей гимнастерки и сгибается стальным крючком. Крючок, душа меня, начинает поворачиваться.

– Не слышу ответа, солдат!

Крючок тянет меня вниз – проклятый запах его тела, меня тошнит от него – улитка уха возникает у моих пересохших губ.

– Не слышу ответа!

Резкий рывок, как рыбу из воды, вырывает меня из строя.

– Чем недоволен, солдат?

Я молчу. Я молчу уже давно, но этого мало. Надо еще что-то сделать с глазами, с лицом... Отработанный сержантский тычок – точно между пуговиц кулаком – вгоняет меня обратно, как ящик в ячейку, вырывает хрип из надорванной груди.

– Встаньте в строй, рядовой. Что вы на ногах не держитесь...

Он говорил правду. На ногах я действительно не держался. Шел третий месяц моего рабства, и меня, собственно, уже не было. Было – тело, пытавшееся выжить среди себе подоб-

ных. Тело проваливалось в бесчувствие, едва зубчатая передача службы выбрасывала его на островок верхней койки. И только там, на самом доньшке бесчувствия, скулил, спрятавшись за подкладкой сна, кусочек моего «я».

– Надо будет заняться с вами физподготовкой после отбоя, – говорит он, поигрывая связкой каптерных ключей на цепочке. – Ерохин – на месте, остальные – разойдись!

– Ну что, говненыш, – говорит он, когда мы остаемся вдвоем, – ты еще не хочешь удавиться?

Чай подостыл, уже можно было отглотнуть его не обжигаясь. Сладкий горячий чай – что может быть лучше? Коротышка, с кровью выплевывающий свои гнилые зубы – вот что лучше. Черная сталь, охлаждающая ладонь – и скулящий от ужаса коротышка. Когда открываются в этом дерьмовом городе столы справок?

Я прихлебывал чай и ждал рассвета, но рассвета не было, и я лег, и закрыл глаза, и он вразвалочку вышел из своей каптерки, накручивая взад-вперед цепочку на сардельку указательного пальца. Он учуял мышь, незаменимую для показательной вивисекции, и вот стоит, расставив крепенькие ноги и вентилируя цепочкой густой казарменный воздух, – надсмотрщик, принимающий новую партию черного товара – и моя усмешка напарывается на пристальный взгляд голубых глаз. «Вам весело, товарищ рядовой?» – «Что вы, нисколько...» – «Что?» – «Нисколько, товарищ... простите, не знаю вашего звания», – я действительно не различал тогда погон! – это простительная вещь, если вдуматься; коротышка не отличал Баха от Глинки, он даже не подозревал об их существовании – и никто не заставлял его чистить за это галюн! «Простите, не знаю вашего звания», – сказал я, и стоявшие рядом хохотнули.

Усмешка досужего путешественника еще лежала на моем лице, когда внимательный прищур его голубых глаз впервые примерил меня к пыточному колесу первого года службы.

... Я живу в сортире. Я пропах мочой, я скребу обломком бритвы проржавевшие писсуары. Все, что было со мной до этого, – Москва, любовь, черное крыло и белая кость «Бехштейна» – было уже не со мной. Я стою у измазанного калом подоконника с обломком бритвы в руке, которой не хватает силы полоснуть по венам. Я не выйду отсюда, пока он не признает сортир убранным, а он не сделает этого до глубокой ночи. Он помочится в отдраенный мной писсуар, буркнет «на сегодня – все» и, шаркая, пошлепает мимо замершего дневального к своей койке, а меня за час до подъема поднимет по его приказу дежурный и, стуча зубами от озноба, я снова отправлюсь в сортир; так старая цирковая лошадь сама идет к опостылевшей тумбе. И будет еще один день, еще поворот на один градус скрипящего колеса службы, и через сколько-то слившихся в одно поворотов – я стою среди ночи, склонившись над раковиной, пытаюсь отмыть терпкий, пропитавший меня насквозь запах, затылком чувствуя взгляд привалившегося к косяку коротышки – и угадываю его голос за мгновение до того, как он раздастся.

– Ты чего, солдат, – говорит голос, – никак собрался отдыхать?

Отпаренные ноги в войлочных тапках, штрипки кальсон болтаются у пола.

– Так точно, – говорю я, пытаюсь совладать с голосом, сквозь который рвется наружу пекло ненависти.

– Ни хуя себе заявочки, – весело кидает он себе за спину, и там, гоготнув, обнаруживаются еще двое: сержант Глотов и кто-то из «дедов».

– Солдат, – неторопливо копая в дупле спичкой, говорит коротышка, – ты назначен мною бессменным дежурным по сортиру – что не ясно?

– Сортир убран, товарищ старший сержант, – говорю я, не узнавая своего голоса.

Спичка дважды перелетает из угла в угол обметанного прыщами рта. Плотное тело отваливается от косяка и подходит ко мне. Его место в проеме занимают зрители.

– Чего сказал, солдат?

– Сортир убран.

Удар по косточке, по ноге, стертой еще на полевом выходе.

– Ножки вместе поставь, товарищ рядовой! – Ощеренный рот обдает меня смрадом. – И еще раз повтори, а то я не расслышал!

Пузырек холода в животе, лопнув, разливается по телу.

– Сортир убран, – говорит кто-то моими губами, – и сегодня я больше туда не пойду.

Спичка перестает прыгать из угла в угол рта, застывает у бугристого подбородка.

– Хорошо, солдат.

Резкий поворот; мускулистый торс в голубой майке, задев Глотова, исчезает за косяком. Мое тело, ожидая своей судьбы, остается стоять у раковины. Ждать ему недолго.

– Дневальный, подъем третьему взводу!

– Не надо! – Я бросаюсь в коридор. – Не надо, подождите! – но уже орет дурным петухом перепуганный дневальный, и скрипят пружины коек, стряхивая в проходы измученных недосыпом заложников. Тела образуют строй, и я замираю, парализованный неотвратимостью этого построения.

– Третий взвод! – сияя чудовищной своей правотой, кричит вырванным из сна людям коротышка. Предстоящее распирает его. – Рядовой Ерохин, находясь в наряде вне очереди, отказался убирать сортир! – Он делает паузу, давая десяткам воспаленных глаз найти мое тело, съездившееся у шинелей, – там, где застигло его построение.

– Рядовой Ерохин устал, – сочувствующе поясняет коротышка и снова делает паузу, грошовый клоун. – Он перетрутился. Поэтому сортир за него уберете вы.

Я отворачиваюсь, я не хочу видеть их, никого, но голос настаивает меня, рвет на куски:

– Надо выручать товарища. – Пауза. И не глядя, я вижу, как он набирает в свою квадратную грудь воздух. – Напра-во! Ерохину – отбой, остальные – в сортир – бего-ом... Отставить! По команде «бегом» корпус наклоняется вперед, локти согнутых рук прижаты к бокам... бего-ом... – марш!

Взвод бежит мимо моего тела, стоящего у шинелей, следом, шаркая, проходит коротышка.

– Товарищ старший сержант, – говорю я. Слова комкаются в горле. – Разрешите мне...

– Отбой, солдат, – ледяным голосом обрывает он. – Отбой по полной форме. – Губы брезгливо извиваются у прыщавого подбородка. – Спокойной ночи. Надеюсь, тебя хорошенько отпиздят сегодня. Бегом была команда! – рявкает он вслед взводу и, шаркая, отправляется в бытовку, у входа в которую одобрительно ржут сержант Глотов и тот, второй.

Когда я открыл глаза, спина в голубой майке только что скрылась за дверью, но это была дверь в ванную.

Полоса солнца лежала на стене гостиничного номера.

Тушеная капуста с котлетой неизвестного происхождения, стакан пахнущего посудомойкой чая и два куска хлеба. Уже можно было уходить, а я все сидел за грязноватым буфетным столом. Я ждал девяти – в девять открывалась справочная будка на площади. Я нашел ее на расвете, пройдя по пустынной улице до памятника, протянувшего в эту пустоту свою традиционную руку. Коты неспешным шагом переходили проезжую часть, сморщенные афиши вечернего концерта зубрили мою фамилию; над запертым тиром красовалась эмблема ДОСААФ и лозунг «Учись метко стрелять!».

Без двадцати девять я перестал возить по тарелке остывшую котлету и вышел из гостиницы.

Киоскер пересчитывал газеты, у окошечка уже собирались прохожие; один был совсем небольшого роста и коренастый, но гораздо старше. Я встал в хвост и купил «Правду» – рука киоскера в обрезанной старой перчатке привычным жестом бросила на блюдечко сдачу. Я спря-

тал двушку в кошелек – может, пригодится. Отойдя, развернул газету и механически пробежал ее по диагонали, читая и не понимая заголовки. Я посмотрел на часы – было без семи девять – аккуратно сложил газету и, сдерживая шаг, двинулся по лучу уже знакомой улицы.

Я не знал, что буду делать, когда чья-то рука протянет мне из окошечка листок с адресом.

Я уже понимал, что не убью его, не сумею даже напугать по-настоящему. Воровать пистолет у постового? Яд из аптеки? Смешно. А смешнее всего – я сам в роли Гамлета. Что же тогда? Но ноги уже привели меня к будке на площади, встали у окошка, за которым копошилась, раскладывая свой утренний пасьянс, седенькая Немезида.

– Имя, отчество...

В тот вечер, объявившись в новенькой парадке с широкой щегольской полосой вдоль погон – погоны ему пришивал и чистил сапоги маленький каптерщик Гацоев, он же носил в коробочке из-под сахара пайку из столовой, за что был милостиво снят с физзарядки – так вот, в тот вечер коротышка построил взвод и, воняя по случаю своего старшинства, велел отныне и до дембеля называть себя по имени-отчеству, каковое и сообщил с неподдельным уважением. Я было подумал, что он пьян, но ошибся. Это было что-то другое.

– Вопросы.

Вопросов нет – мы молчим. Взгляд трезвых, холодно-веселых глаз начинает скользить по шеренге и безошибочно останавливается на мне.

– Рядовой Ерохин!

– Я!

– Жопы мои! – свежо шутит коротышка. – Выйти из строя!

Шаг, шаг, поворот кругом. За что они все презирают меня, почему так услужливо растянута улыбками рты?

– Рядовой Ерохин, поздравьте меня с получением очередного звания!

– Поздравляю.

– Громче – и я сказал: по имени-отчеству, Ерохин!

Прыщеватое лицо уже не улыбается. Если я не отвечу, он погонит взвод на спортгородок, а ночью мои боевые товарищи опять будут меня бить, вкладывая в удары всю тайную ненависть к коротышке, всё желание свободы, весь страх оказаться на моем месте.

Но это ночью. А сейчас он скамандует мне встать встрой – и начнется ад, отработанный уставной ад, и уже ноет живот вечным пузырьком холода под диафрагмой, и заранее разламывается бессонницей мозг, и покачивается, наливаясь страхом и ненавистью, многоголовая гидра взвода, наваливается, душит – господи, да не все ли равно?

Мои губы выталкивают изо рта проклятый кляп его имени-отчества.

– Встать в строй, – презрительно сжеживает ненавистный голос.

Шаг, шаг, поворот кругом, и чей-то удар сзади кулаком по почкам – товарищеское назидание, памятка на будущее – и ясный, веселый взгляд упертых в меня голубых глаз...

Отчество, год рождения...

– А профессии вы не знаете?

– Нет, – сказал я – и вспомнил его профессию.

– Хорошо, – сказала киоскерша. – Подойдите минут через пятнадцать.

Демобилизовался он в школу милиции – с рекомендацией от командира полка и партбилетом в кармане парадки. За неделю до чего присвоил себе мой перочинный ножик, объявив его холодным оружием. Теперь он, наверное, старлей. Обаятельный такой старший лейтенант

милиции. Картинка с выставки. Подлечил зубы, женился; жена симпатичная, пухленькая – он любил пухленьких. Интересно, бьет ли он ее?

Я сидел на скамейке у пересохшего фонтана и ждал. Развернутая газета бесцельно маячила перед глазами. Прошло не больше пяти минут. «Пять минут, пол в проходе натерт – время пошло!» Прыщавая скотина; как будто время может останавливаться! Я приеду к нему после концерта, позвоню в дверь. Шарканье за дверью. «Кто?» – «Телеграмма». Звяканье цепочки; его пухленькая жена в халате, недоуменный взгляд; молча отодвигаю ее и прохожу в комнату: «Здравствуй». – Пауза. – «Не узнаешь?» – Молчит, сопит. – «Ну, вспоминай: семьдесят девятый год, гарнизон Антипиха, – ну!» – Пауза, глубокая, тяжелая пауза. – «Фамилия Ерохин тебе ничего не говорит?» – «Ерохин?» – Капли пота на прыщавом лице; взгляд на жену, застывшую в дверях спальни; он поражен в самую гниловатую сердцевину своей души. «Что тебе надо? ...» – «Слушай, старшина, или кто ты там теперь есть: я хочу видеть твою мать; она жива, надеюсь; я хочу ей сказать, что она родила гниду, мразь, какой свет не видывал». – «Сволочь», – хрипит он и хватается меня за лацканы – и тогда я беру его за лицо и под визг пухленькой жены несколько раз бью затылком об стену...

В детстве надо заниматься боксом, а не ходить на сольфеджио.

Боксом занимался он, а не я – у него и в каптерке висели перчатки; он не станет слушать моих монологов, и капли пота не выступят на прыщавом лице – он просто ударит меня под дых, как тогда в наряде по столовой – ему почему-то не понравился мой взгляд – я хватаю ртом тяжелые испарения варочного зала, кулем валюсь на ухабистый, мокрый цементный пол и не могу подняться; в мареве у самого лица вырастают офицерские сапоги.

– В чем дело, сержант?

– Да заебал он меня, товарищ прапорщик! – гремит, перекрывая грохот посудомойки, коротышкин дискант. – Служить не хочет, все шлангом прикидывается...

– Подъем, солдат! – командует прапорщик Совенко.

– Я не могу, – говорю я, ловя ушедшее дыхание. – Он меня ударил, – говорю я, поднимаясь.

– Кто тебя ударил, солдат?! – орет коротышка. – Раськов, Касимов – ко мне!

Топот ног по лужам на цементе.

– Я его бил?

– Нет, – говорит Раськов.

– Нет, – говорит Касимов.

Оба в мокрых, черных от грязи комбезах, серые от недосыпа – оба не смотрят на меня.

– Не надо залупаться, солдат, – по-отечески советует Совенко, и, нагнувшись, выносит свои два метра из варочного зала.

– Раськов, Касимов – к котлам!

Чавканье ног по лужам на цементе. Мы снова одни. Он берет меня за ворот гимнастерки и несильно бьет костяшками пальцев в подбородок.

– Застегнитесь, рядовой. – Пауза. – Объявляю вам наряд вне очереди за неряшливый внешний вид.

Он поворачивается и выходит, цокая подковами. Я стою в варочном зале, среди чада и грохота котлов. Пар застилает глаза, щиплет в ноздрях. Я плачу...

Сердце спотыкалось, заголовки черными пятнами плыли по слепящим полосам. Я отбросил газету – страница, шелестя, сползла со скамейки и легла на землю. Я встал и наугад пошел мимо мертвого фонтана, бесповоротно оставляя за спиной сквер и будку с оплаченной адресной квитанцией. Я шел сквозь муравейник незнакомого города в свое гостиничное убежище; сердце прыгало и сжималось от страха. Из-за любого поворота мог выйти коротышка с пре-

зрительным прищуром узнающих глаз, в любую секунду мог окликнуть меня резкий, проникающий под кожу голос – и я вытянулся бы среди улицы, собакой лег бы у его мускулистых ног.

Я опоздал со сведением счетов.

Тухлый кубик рабства навсегда растворился в крови.

1990

КРЫСА

Дивизионный хлебозавод находился в стороне от остальных полков гарнизона. Налево от калитки был контрольно-пропускной пункт, но туда никто не шел. Шли прямо – через дорогу, в увитом колючей проволокой заборе была выломана доска. Ее прибивали и тут же выламывали снова. Шли и направо – там через пару минут забор кончался и начиналась самоволка. Рядом с гарнизоном стоял поселок, где жила (а может, живет и сейчас) подруга всех военнослужащих, рыжая Люська.

Но речь не о ней.

– Пора, – сказал старшина Кузин, припечатал кружку к настилу с выпечкой и поднялся. Жмурясь от слепящего холодного солнца, они выскочили из подсобки и сгрудились у пекарни, озирая фронт работ.

– Отслужила палаточка, – ностальгически высказался Глиста. (Мама называла его Володей, но в армии имя не прижилось.)

Палатка-пекарня была с одноэтажный дом. Прожженный верх подпирали пыльные столбы света. Через две минуты, выбитая сержантской ногой, упала последняя штанга, и палатка тяжело опустилась на землю.

– Л-ловко мы ее, да?

Рядовой Парамонов захлопотал рябоватым лицом, пытаясь улыбнуться всем сразу. Хмурый Шапкин внимательно посмотрел на салагу, Григорьев сплюнул.

– Вперед давай, – выразил общую старослужащую мысль эмоциональный Ахмед. – Парамон гребанный.

Через полчаса старая палатка уже лежала за складом, готовая к списанию, а огромную печь дюжие пекари матюками закатили на пригорок и, обложив колеса кирпичами, уселись на пригреве покурить. Своей очереди теперь дожидались гнилые доски настила и баки из-под воды.

Солнце разогревалось над сопками.

– Значит так, Ахмед. – Старшина Кузин соскочил с печки и прошелся по двору, разминая суставы. – Ты, значит, рули тут, и чтобы к обеду было чисто.

За складом стояла ржавая койка с матрацем, и Кузин лег на нее, укрывшись чьей-то шинелью. Прикрыв веки, он думал о том, что до приказа – считанные дни, а до дембеля – никак не больше месяца; что полковник обещал отпустить первым спецрейсом, и теперь главное, чтобы не сунул палки в колеса капитан Крамарь. С Крамарем Кузин был на ножах еще с осени, когда штабист заказал себе на праздник лососину, а Кузин, на том складе сим-симом сидевший, не дал. Не было уже в природе той лососины: до капитана на складе порыбачили прапора.

Между тем у палатки что-то происходило. Приподнявшись, старшина увидел, как застыл с доской в руках Парамонов. Глядя вниз, сидел на корточках Григорьев, а рядом гоготал Ахмед.

– Гей, Игорь, давай сюда! – Ахмед смеялся, и лицо его светилось радостью бытия. – Скажи Яну – у нас абед мясо будет!

Влажная земля под настилом была источена мышами, и тут же, отвесно, уходила вниз шахта крысиного хода. Кузин откинул шинель и подошел: события такого масштаба редко случались за оградой хлебозавода.

Личный состав собрался на военный совет. Район предстоящих действий подвергся разведке палкой, но до крысы добраться не удалось.

– М-может, нет ее там? – В голосе Парамонова звучали тревожные нотки; это была тревога за общее дело.

– Куда на хер денется! – отрезал Григорьев.

Помолчали. Глиста поднял вверх грязный палец:

– Ахмед! Я придумал...

Ахмед не поверил и посмотрел на Глисту как бы свысока. Но тот продолжал сиять:

– Ребята! Надо залить ее водой!

Генералитет оживился. Шапкин просветлел, Кузин самолично похлопал Глисту по плечу, Ахмед восхищенно выругался. Мат в его устах звучал заклинанием; смысла произносимого он не понимал: говорил, как научили.

Парамонов побежал за водой, следом заторопился длинный как жердь автор идеи.

Из-под ящика выскочила мышка, заметалась пинг-понговым шариком и была затоптана. Этот боевой успех не должен был стать последним: на территорию дивизионного хлебозавода вступил его начальник, лейтенант Плещеев. Лицо его, раз и навсегда сложившись в брезгливую гримасу, ничего более с тех пор не выражало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.